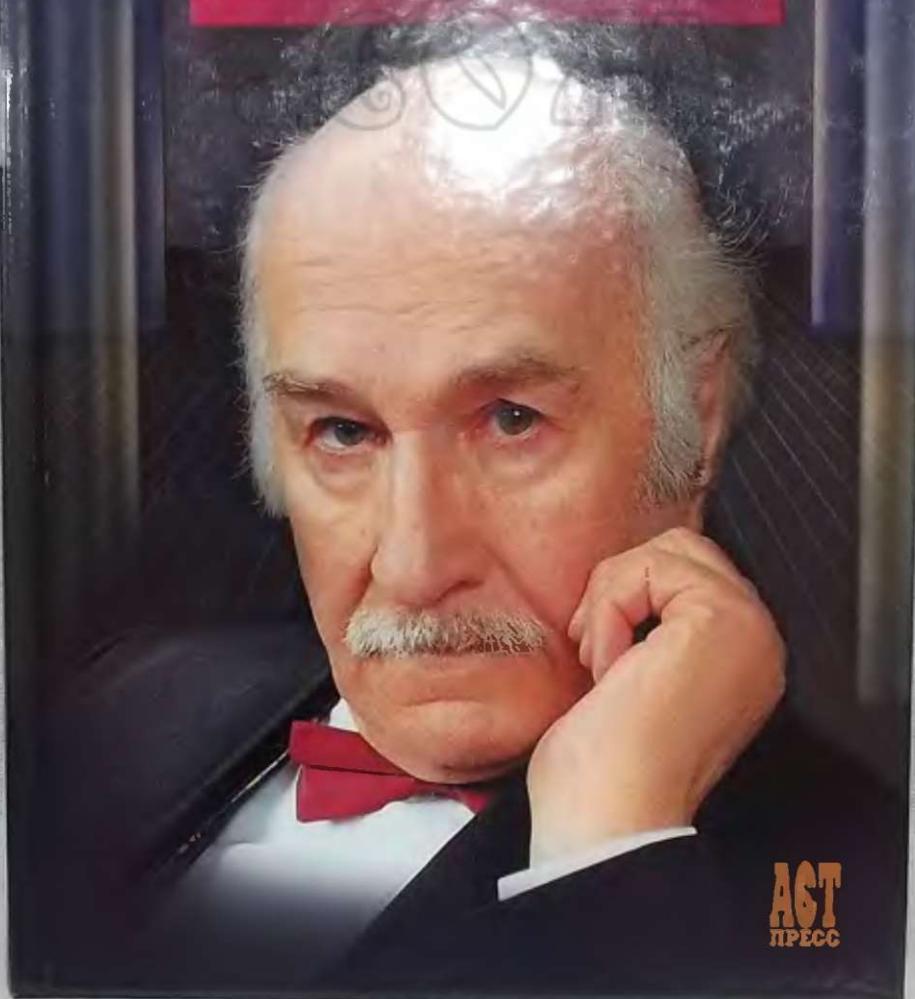


Владимир Зельдин  
Моя профессия:  
Дон Кихот





.КОМ



Владимир  
**Зельдин**

МОЯ ПРОФЕССИЯ:  
ДОН КИХОТ

СЕРИЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА

Владимир  
**Зельдин**  
МОЯ ПРОФЕССИЯ:  
ДОН КИХОТ

Москва «АСТ-ПРЕСС КНИГА»



УДК 792  
ББК 85.334.3(2)6-8  
3-50

# ККЗАДОИ

Литературная запись  
**Натальи Казьминой**

Под редакцией  
**Б. М. Поюровского**

Автор и издательство благодарят  
за оказанную помощь в издании  
этой книги В. И. Якимова, Б. А. Морозова,  
И. И. Чурсина, В. Т. Столбу и Е. Ф. Маньшину.

Фото В. Плотникова, М. Гутермана,  
из личного архива автора,  
из фондов Музея ЦАТРА и РГАЛИ.

Книга издана при содействии ЦАТРА.

ISBN 5-462-00045-6

© Зельдин В. М., 2005  
© ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2005

# Я еду с ярмарки

## КВАДРЫ

Сейчас воспоминания пишут все, кому не лень. Мне — всегда было лень. То и дело находился «магнит попрятательней», как выражается принц Гамлет. В молодости я очень много работал. Да даже в 50 и в 60 лет в театре работал много. Именно поэтому и считал, что в жизни мне повезло. Я любил работать. Работа в театре никогда не была для меня в тягость. Всегда доставляла наслаждение. Случалось, я играл по 25 спектаклей в месяц. Часто колесил по стране с шефскими концертами, которые Театр Армии давал в военных частях и гарнизонах, и забирался в такую глушь, которая и на карте не обозначена. Каждое лето два месяца проводил на гастролях. И все это, представьте себе, было в радость.

Вот снимался я, наверное, меньше, чем мог бы, скажем, после своего громкого дебюта у И. А. Пырьева, в фильме «Свинарка и пастух». Но я никогда не стремился сниматься только ради того, чтобы сниматься. Пожалуй, для актерской профессии я недостаточно честолюбив. Это не очень хорошее качество, если хочешь чего-то добиться в жизни. И не очень типично для актера. В годы моей молодости актеры, как и сегодня, очень хотели сниматься. Кино, как и сегодня, было главным шагом актера к славе. Однако все понимали, что великие роли и репутации создаются в театре. В мое время кино называли чаще всего «просто работой». А театр почитали как искусство. Театр и был искусством в годы моей молодости. Я на этом настаиваю. Тогда актеры, по-моему, все, как один, на вопрос: «Что вы предпочитаете: театр или кино?» — отвечали одинаково: «Конечно, театр».

Сегодня, когда мне без пяти минут 90 лет (страшно подумать!), я чувствую себя свободным господином

и «вольным стрелком». Теперь я играю в театре только два-три спектакля в месяц, иногдаучаствую в концертах, не только в Москве, но и в других городах. Загранице дальней предпочитаю ближнее морское побережье. В хорошую погоду езжу на дачу в Серебряный Бор или хожу в гости. Люблю перед сном прогуляться пешком. И все это опять-таки в радость. Для меня сейчас каждый день в радость.

В общем, если у меня выдается свободный вечер, мне всегда есть чем себя занять. Могу пойти на чужой спектакль в чужой театр. Люблю ходить на чужие спектакли, смотреть то, о чем все говорят. Мне интересно услышать чужое мнение, составить мнение собственное. Из московских театров мои любимые — Большой, Ленком, «Современник», «Сатирикон»...

Я по-прежнему страстно влюблена в спорт. Хотя теперь чаще люблю его по телевизору. Главное предпочтение отдаю футболу, хоккею и теннису. Но спортивные Олимпиады «пожираю» целиком.

Да! Еще я репетирую. Спектакль к своему юбилею. Моя жизнь заполнена мерным течением дней и событий. В ней есть смысл. И к чему, скажите, фиксировать эту жизнь на бумаге? Даже вечерняя прогулка с Борисом Николаевичем мне дороже всякой «писанины». Вы хотите знать, кто такой Борис Николаевич? Не напрягайте лоб, это мой пес, верный друг и собеседник и, естественно, главный член нашей с женой семьи...

В общем, писать мемуары меня уговаривали давно, но я еще долго пытался бороться за свою независимость. Как только речь заходила о книге, накатывала лень смертельная. И еще, честно говоря, было стыдно. Что ж занимать время читателя своей персоной, если столько великих и талантливых людей, которых я видел в зените славы, которыми безмерно восхищался, столько достойных людей не оставили о себе ни строчки? Ни о себе, ни о своих талантливых друзьях, ни об эпохе, в которую жили. Ни строчки... Сегодня очень любят награждать эпитетами «великий», «гениальный», «выдающийся» всех подряд: ныне живущих, молодых сравнительно актеров, даже эстрадных певцов. Мне это как-то дико. Недавно

услышал в программе «Угадай мелодию», как В. Пельш провозгласил в адрес молоденькой девочки, победившей в его конкурсе: «Я горжусь, что живу в одну эпоху с такими выдающимися высокоэрудированными девушками». Меня это как-то покоробило. У меня, знаете ли, другой счет к людям и словам. Для меня «великие» — это Пушкин, Лермонтов, Толстой, Мусоргский. Или ученые — Курчатов, Ландау, Сахаров. Мне в такой «системе координат» жить как-то естественней.

Кроме того, говорю я скучо и не цветисто. Я устаю от разговоров на тему о себе, любимом. Как многие актеры, больше чувствую, чем умею выразить словами. Кому это интересно? Жизнь моя не изобилует «подвигами». Ни на личном фронте, ни на общественном поприще. А врать и пускать пыль в глаза, приукрашивая свою биографию, я не приучен. Врать не приучен с детства. Мне даже устно прихвастнуть или приврать бывает иногда неудобно! А тут — написать... а потом «не вырубить топором»...

Я же не писатель и не журналист, чтобы придать своему рассказу форму эдакого душепитательного «женского романа». Сейчас ведь такие книги любят. Такими зачитываются. Да я и не смог бы, наверное (в силу воспитания, а может, «ложно понять скромности»), так откровенно живописать свою частную жизнь или любовные приключения, как это сделал, например, Андрей Кончаловский. Кстати, любимый и уважаемый мною режиссер. Но такую книгу, как он, я бы, точно, не смог написать. Да и не считаю правильным писать. Мне кажется, это даже тактически неверно.

В актере, особенно известном, что-то всегда должно оставаться тайной. Что-то должно быть заперто внутри, как говорил один мой герой. Некая дистанция между актером и зрителем не должна слишком сокращаться. Актеру это позволит сохранить душевный покой, состояние, в котором только и можно чего-то добиться. А зритель, таким образом, будет постоянно сохранять свой интерес к актеру.

Ну представьте себе, если утром я читаю в газете, что актер Д. избил жену, а вечером вижу его в роли благород-

ногого героя без страха и упрека. Он мне кажется немного ненастоящим героем. А если я сначала читаю, что актрису М. бросил муж, и уже не первый, а пятый, а вечером она играет удачливую покорительницу мужских сердец, я что-то перестаю ей верить.

Даже в былые годы, когда об актерах писали гораздо меньше, чем теперь, зритель склонен был путать актера с его героями, отождествляя актера с его персонажем. Ну а сегодня у бедного зрителя совсем голова кругом. И актер часто попадает в ложное положение, если уж очень увлекается игрой по этим правилам.

«Говорят, что каждый человек может написать одну интересную книгу, если он правдиво расскажет о своей жизни. Не знаю, насколько это верно, но, несомненно, звучит ободряющее для всякого отваживающегося на такое дело» — так начал когда-то свои воспоминания режиссер Алексей Дмитриевич Попов, сыгравший в моей жизни одну из главных ролей. Если уж он себя уговаривал, то что говорить обо мне. Попова нет уже на свете 43 года (это почти половина моей жизни), но я до сих пор и помню его, и чту, и люблю. И не могу поставить себя на одну доску с ним. Ни с ним, ни с Иваном Александровичем Пырьевым, которому я тоже в своей жизни многим обязан. Иосиф Бродский однажды хорошо сказал, мне понравилось: надо помнить, что есть люди лучше тебя, — это облегчает жизнь.

Владимир Зельдин, конечно, народный артист СССР, лауреат всяческих премий, кавалер разных орденов, но все-таки не Константин Сергеевич Станиславский с его стройной системой воспитания актера. У меня нет «системы», изложив которую я мог бы оказаться полезным другим творческим людям, особенно молодым. Более того, скажу совсем крамолу! Я подозреваю, что ее и не может быть. При всем моем почтении к К. С., МХТ моей юности и «психологическому театру» вообще, я в творчестве человек «бессистемный». Скорее мистик, чем реалист. Совершенно уверен, например, что никакая «система» не способна объяснить все тайны театра полностью. Кто-то же из актеров Художественного театра пошутил, сказав, что Станиславский придумал свою «систему» для

плохих актеров, а хорошие артисты и так сыграют, безо всякой «системы».

То, что я все-таки согласился писать книгу, — чистое недоразумение. Я бы сказал, «роковое стечание обстоятельств». Зимой 2003 года я начал репетировать в театре мюзикл «Человек из Ламанчи». Режиссер Юлий Гусман решил подарить мне на склоне лет такую возможность — встречу с лучшим героем лучшего романа нескольких эпох. Я давно мечтал об этой роли, о герое, может быть совсем не современном сегодня, но самом дорогом для меня. А в «Человеке из Ламанчи» Дон Кихот еще и поет, и танцует. Ну или, скажем, пританцовывает, учитывая мой возраст. Что может быть заманчивее для актера, который всю жизнь танцевал, танцы обожал и впервые прославился именно в мюзикле? Просто это так тогда не называлось. Я имею в виду знаменитый спектакль Театра Красной Армии «Учитель танцев».

А потом у театра изменились планы, репетиции спектакля были отложены, какказалось, на неопределенный срок. А я уже взял разбег и настроился. В общем, выяснилось, что у меня уйма свободного времени. Мне стало нечего делать! А это совершенно ненормальная для меня ситуация. Я совсем не умею бездельничать. И тогда скрепя сердце я решил: если уж в 90 лет я собирался сыграть премьеру, то и книжку, пожалуй, осилю. Все-таки откладывать подведение итогов уже некуда...

Но это не значит, что меня уговорили. Я сам так решил. Меня «уговорить» ни на что нельзя, если я сам не почувствую в этом необходимости и внутренне с этим не соглашусь. Мое упрямство, о котором в театре, как выяснилось, ходят легенды, — это мой грех, мой крест, не знаю, а может быть, мое главное достоинство. Ни один режиссер из тех, с кем я работал, не может похвастать, что когда-нибудь уговорил меня сыграть роль, к которой не лежала моя душа.

Будем считать, что я сочиняю эту книгу из эгоистических соображений. Не для того, чтобы итожить то, что прожил (я никогда не любил, не умел и не хотел жить прошлым), а для того, чтобы еще раз испытать изумительное волнение, которое вспыхивало во мне всякий раз при

столкновении с настоящим искусством. Чтобы вернуть себе и, может быть, современному зрителю, все-таки невероятно обделенному сильными эмоциями, тени великих людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Мне и самому в это иногда странно поверить.

Я видел однажды из-за кулис выступление Бухарина. Я слышал живьем Маяковского. Сама Ахматова переступала порог моей гримерки! Я видел спектакли Таирова и Мейерхольда, обожал Малый театр и его корифеев, не говоря уже о Художественном театре, где мы, молодые московские актеры, дневали и ночевали — все спектакли смотрели по многу раз. Я работал с Иваном Берсеневым, Софьей Гиацинтовой, Серафимой Бирман, Алексеем Диким. На съемочной площадке общался с Иваном Пырьевым, Владимиром Дружниковым, Мариной Ладыниной, Николаем Крючковым, Борисом Андреевым, с Кешей (он был для меня Кешей) Смоктуновским, с Сергеем Бондарчуком... С нежностью вспоминаю и своего большого друга Гришу Шпигеля, ныне, увы, забытого, но за-ме-ча-тель-но-го актера... Я дружил с Григорием Гориным. И сколько еще их было, прелестных талантливых людей, которые оставили меня одного в этом мире.

*Вы снова здесь, изменчивые тени,  
Меня тревожившие с давних пор,  
Найдется ль наконец вам воплощенье,  
Или остыл мой молодой задор?  
Но вы, как дым, надвинулись, виденья,  
Туманом мне заставши кругозор.  
Ловлю дыханье ваше грудью всею  
И возле вас душою молодею.*

*Вы воскресили прошлого картины,  
Былые дни, былые вечера.  
Вдали всплыvает сказкою старинной  
Любви и дружбы первая пора.  
Пронизанный до самой сердцевины  
Тоской тех лет и жаждою добра,  
Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный,  
Опять припоминаю благодарно.*

*И я прикован силой небывалой  
К тем образам, нахлынувшим извне,*

*Я в трепете, томленье миновало,  
Я слезы лью, и тает лед во мне.  
Насущное отходит вдаль, а давность,  
Приблизившись, приобретает явность, —*

как писал в великом «Фаусте» великий Гете.

Может быть, действительно то, что я сумею припомнить, кому-нибудь покажется интересным...

Однако празднолюбопытствующих предупреждаю. По нынешним меркам я скучный тип. Консерватор и ретроград. Верен старым друзьям и идеалам, гробам и могилам. Для меня существуют святые понятия, хоть ты тресни: Россия, родина, армия, Великая Отечественная война. Я не признаю многих «измов» в искусстве. То есть пусть они существуют: молодежи нужна арена, необходима возможность самоутверждаться. Каждый молодой человек в жизни должен, наверное, попробовать сам изобрести велосипед. Но мне это уже скучно. Я сопротивляюсь из последних сил даже эмансипации. До сих пор, например, пытаюсь уступить женщине место в трамвае или поднести ей тяжелые сумки. В дверях пропускаю даму вперед. Автоматически. Жизнь сегодня страшно торопится. Каждый день что-нибудь пересматривает: законы, правила, нормы, но бежать впереди прогресса, как предлагал небезызвестный литературный герой, у меня не то чтобы нет сил — желания нет. Да я и в молодости этим не грешил. Собственное мнение иметь всегда старался, хотя никому его не навязывал и не навязываю. Что делать, если я до сих пор уверен: скромность — лучшее украшение мужчины и творческого человека. Главными человеческими качествами я считаю любовь, доброту и способность человека к состраданию. Наверное, сегодня это звучит даже оригинально. Но я с легким сердцем повторю вслед за Пастернаком: «Быть знаменитым — некрасиво».

Я, может быть, и живу так долго только потому, что никогда и никому не завидовал. Никогда не ощущал этой странной потребности. Я умею и люблю восхищаться дружими. Вот Юрий Яковлев, например, восхитительный

артист. И я всегда рад сказать это, обрадоваться его новой роли, большому успеху. В чьих-то глазах я, наверное, неисправимый романтик. Но не считаю это большим грехом. Видимо, мой романтизм порожден не столько моей принадлежностью к определенному амплуа (я ведь успел побывать на сцене не только героем-любовником, но и гротесковым артистом, о чем мало кто знает), сколько свойством моей натуры.

На протяжении моей долгой жизни мода на романтизм менялась много раз. Романтизм обожали, романтизм презирали. Иногда он вовсе оказывался «в загоне». Но подозреваю, что такое качество человечества, как склонность к романтике и мечтательность, будет существовать вечно. Это естественно для всякого нормального человека — мечтать и стремиться к цели, желать стать лучше, думать о чем-то высоком, красивом.

К моему 85-летию Федор Чеханков, мой младший товарищ, мой преемник в спектакле «Учитель танцев», написал обо мне самую неожиданную из читанных мною когда-либо юбилейных статей. Без восклицаний и славословий, статью из одних вопросов. Но это главные вопросы нашей жизни.

«Вдруг я подумал, что так и не знаю главного его секрета. Кто и как заряжает его актерский и человеческий аккумулятор? Почему ему до сих пор все интересно, почему он не устал от театра, от жизни, от себя и от нас всех? Почему он до сих пор удивляется, не циничен, открыт, хочет и может репетировать новую роль? Как он, познав такую звездную славу, остался приветлив и искренен? Как он смог остаться таким независимым в самой зависимой профессии? Как он умеет в самые важные моменты жизни театра (а их было на его веку немало) встать и заставить всех затихнуть так, что слышно, как летит муха. И негромко, как только он умеет, выговаривая все буквы и вкладывая в них самый серьезный смысл, сказать что-то самое важное и точное. «Врезать в лоб» вне зависимости от званий и положений. Он не предсказуем, его нельзя запрограммировать, я с ним дружу, но с ним нельзя договориться заранее. Он всегда поступает по зову своей совести. Откуда все это? Может

быть, от семьи? От отца — военного дирижера в Твери? Я застал еще его тетушек и сестер. Все они были именно этой породы: спокойные, достойные, рассудительные, никаких истерик, депрессий. Ему никогда не скучно в одиночестве. Я не помню, чтобы он маялся от безделия. У него напрочь нет этой актерской инфантильности и псевдонервности. Принято считать, что актер — человек особый, не от мира сего. Зельдин — от мира сего, аккуратист и чистюля. Если нет в гостинице горячей воды, три раза в день лезет под холодный душ. Сам себе всегда стирает рубашки, сам гладит, сам пришивает пуговицы и чинит одежду. Слава богу, он редко болеет. Он думает о себе и бережет себя только для одного — для сцены. В его жизни всегда есть перспектива — сцена, роль. Вот ради чего он живет. Он — уникальное явление в нашем театре. Слава богу, что мы его застали, что мы рядом с ним иногда стоим на сцене. А то, что он статен, красив, музкален, танцевален, всегда подтянут, всегда галантен, так это знают все! К этому привыкли, это воспринимают как должное».

Возможно, Федя по праву многолетней дружбы и превеличил мои достоинства. Но, не скрою, мне бы хотелось быть похожим на этот портрет. Комplимент моей музыкальности и танцевальности я с благодарностью принимаю. Насчет статности и красоты можно поспорить. Я сам иногда на эту тему пошучиваю. Ответить на прозвучавшие вопросы я попытаюсь...

Однажды на чьем-то юбилее, в Большом театре, я оказался рядом с двумя великими балеринами, Мариной Тимофеевной Семеновой и Галиной Сергеевной Улановой, и великим танцовщиком, Володей Васильевым, с которым мы дружны много лет. Мы стояли за кулисами, о чем-то болтали. И вдруг Уланова, рассказав, как до сих пор каждый день по два часа занимается станком, хватает меня за руку и совершенно серьезно, как девочка, которой не верят, просит: «Нет, ты пощупай, Володя, какие у меня еще сильные ноги!» Я, доложу вам, не без смущения, но и не без удовольствия «пощупал» коленки великой Улановой, а потом подумал: «Все-таки забавные мы старички. Таких уже не будет. Мы последние могикане.

И мы молодцы, если в наши годы нам еще так хочется жить...»

А потом я случайно наткнулся на автобиографическую повесть «Летят мои кони...» Бориса Васильева. Начал листать. Просто потому, что хорошо его знаю. И так листал, пока не наткнулся на рассказ, поразивший меня в самое сердце. Васильев с невероятной нежностью, теплотой и, главное, отчетливостью вспомнил некоего доктора Янсона из своего детства. Старый, сутулый человек с саквояжем и зонтом вместо трости в любую погоду, без выходных и праздников шагал по улицам Смоленска к своим пациентам. Доктор никогда и никуда не спешил. Смотрел на часы, только когда измерял пульс или температуру. Всегда согревал руки, щупая детские животы, чтобы не было щекотно. Я вдруг совершенно ясно, как в кино, увидел эту картину...

Сходство наших с Васильевым детских впечатлений было поразительным. И в моем детстве был такой человек, который точно так же, с саквояжем, ходил по улицам города. Только другого города. От этого вдруг перехватило дыхание, вспомнилось все. Я перелистал повесть назад, снова открыл на первой странице и еще раз вчитался. И опять все совпало. Это оказалось и мое настроение.

«Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах вороватые поцелуи случайных женщин... Еще хочется пробежаться босиком... Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда.

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик.

Чувства притупляются, как боевые клинки: об них уже не обрежешься... и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее...

Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие раны».

Нет, все-таки прав был тот умник, который сказал, что наши воспоминания — это единственный рай, из которого нас никто не выгонит взашей.

## Москва. Таганка. Лефортово

Мы переехали из Твери в Москву, когда мне было лет 9. Отец тогда уже болел и, может быть, поэтому так торопился получить лучше устроить наше будущее. Держался он мужественно, хотя быстро слабел и все время был вынужден переходить с одной работы на другую, полегче. Его старый друг, тоже военный дирижер, Николаевский руководил в Москве оркестром Высшей пограничной школы. Оркестр летом часто играл в саду «Эрмитаж». Николаевский и предложил папе помочь устроиться в Москве.

Забегая вперед, скажу, что, когда папы не стало, Николаевский взял меня к себе в оркестр музыкантом. Честь по чести я носил военную форму (это в 14-то лет!) и целый год играл в оркестре на трубе. Оркестр стал моим первым местом службы, здесь я получил свою первую зарплату, которая очень нашу семью выручала. После смерти папы мы, естественно, нуждались. Я к тому времени уже учился в Музикальном училище имени Гнесиных, со скрипкой под мышкой на трамвае через всю Москву ездил на занятия. Собирался даже поступать в консерваторию. Но денег в семье не хватало, пришлось идти работать. Так не осуществилась папина мечта — увидеть меня музыкантом...

Переезд в Москву дался нам непросто. Расставаться с родной Тверью, с насиженным местом, домом, тетей Симой, друзьями было непросто. Сначала мы с папой вдвоем с небольшим количеством вещей отправились в столицу «на разведку». Помню, приехали поздно вечером, стояла зима, падал сильный снег. Когда в Москве мы вышли на привокзальную площадь, меня первым делом поразила интенсивность движения (ночь на дворе!) и ослепил свет — словно я попал не в реальный город, а в сказку. Даже ночью жизнь большого города не прекращалась, вовсю звенели трамваи, перекрикивались извозчики. Этот факт меня совершенно потряс. Здесь был совсем другой воздух, другие звуки, запахи, краски. У Москвы оказался иной темперамент, чем у Твери.

Мы с отцом сели в сани, и извозчик покатил нас в сторону Крестьянской Заставы, на Воронцовскую улицу.

Наши родственники снимали там квартиру, маленькую, простенькую, со скрипучими полами и без горячей воды. Каждое утро мы с отцом умывались в медном тазу, в котором зимой плавали и гремели льдинки. Впрочем, так жили тогда многие москвичи. Дядя Костя, крупный человек с пышными усами и в пенсне, был бухгалтером. Его жена, тетя Соня, — домохозяйкой. Детей у них не было, поэтому меня сразу приняли и полюбили, как своего. В получку дядя Костя немного выпивал, хотя норму свою знал. Но тетя Соня все равно не упускала случая сделать мужу замечание, когда он приходил домой подшофе. Однако всякий раз вполне мирно принимала от него сверток, перевязанный веревочкой, в котором лежала «рыбка к ужину». Мне же, как самому маленькому, дядя Костя вручал шоколадку.

Недалеко от дома, в Шикаловском проезде, в деревянных 2–3-этажных домах с просторными дворами жили ломовики-извозчики, а рядом находились конюшни. Мы с друзьями часто ходили туда смотреть на лошадей. Может быть, именно тогда я и полюбил их так нежно, на всю жизнь.

В Москве я учился на Таганке, на той самой Воронцовской улице. Школа у нас была военизированной. Военное дело нам преподавал действительно замечательный, увлеченый своей профессией человек. Столкнувшись с ним, я впервые понял, как многое в жизни зависит от первых учителей. Военрук, майор Хлевинский не был солдафоном, отнюдь. Он великолепно знал русскую историю и историю войн и военного дела, в частности историю оружия. Рассказывал нам про это так, что мы слушали, раскрыв рты. Особенно интересными были его рассказы о военных баталиях времен Петра I, Екатерины II, о по-темкинских походах, о Крымской войне, об освобождении Болгарии, когда русские стояли у стен Плевны. На занятиях мы не только теоретически, но и практически знакомились с оружием, разбирали, смазывали и собирали винтовку. В конце концов мы так втянулись в эту игру, что каждый класс стал у нас называться взводом, три класса — ротой, а сама школа превратилась в полк. Нам даже сшили настоящую военную форму, и в 1930 году мы

с гордостью участвовали в военном параде на Красной площади.

С Таганки мы переехали в Лефортово, район тоже исторический и тоже с «военной жилкой». Постройки здесь сохранились еще с петровских времен: огромные, длинные дома с массивными воротами во внутренние дворы. Видимо, когда-то это были казармы. Недалеко от нашего дома находилась Военная пехотная школа Ашенбренера и Уншлихта, Артиллерийское училище, Школа «Выстрел».

Мы часто ходили «в гости к военным». На их территории бывали концерты, привозили кино, проводили спортивные соревнования. Нас, детей, одних туда, конечно, не пускали, но мы пробирались «нелегально».

Жили мы рядом с военным стадионом, уже в собственной квартире на Красноказарменной улице. Хотя «квартира» — это громко сказано: в одной большущей комнате обитали все вместе — папа, мама, я, Юра, Нина и Ира, Леночка к тому времени умерла. Дом тоже был «из петровских времен». По-моему, когда-то там жили конюхи, а может быть, даже просто была конюшня. Я как-то приезжал туда уже после войны взглянуть на родные места, тогда там ничего не изменилось. Квадратный двор, через вторую арку налево, потом по галерее первого этажа. Вторая квартира, третья, где жил хромой дворник-татарин со своей многочисленной семьей, у него было, кажется, человек семь детей. А после них сразу наша дверь. Все узко, тесно, все разговоры через стенку слышны. Но никаких скандалов.

Снова появились друзья во дворе. Снова мы дрались и мирились. Зимой ходили в парк на лыжах. Летом купались в прудах. Вода была невероятно чистой. Я давно там не был. Сейчас, когда строится Третье кольцо, когда даже исторические здания не выживают, когда вся Москва ломается и строится, я там, наверное, уже ничего не узнаю. Тогда нечего и ехать.

Когда не стало родителей, когда Ирина вышла замуж, а Юра женился, мы остались в нашей «квартире» вдвоем с Ниной. Однако не успели насладиться простором, потому что нас тут же и «уплотнили». «Квартиру» перегороди-

ли брезентом, перпендикулярно двери и маленькому коридорчику, и к нам под бок въехала семья рабочих. Кстати, они оказались довольно приличными и даже деликатными людьми, и прожили мы с ними до самой войны мирно и по-родственному. В молодости такая вещь, как квартирный вопрос, испортивший, как известно по Булгакову, немало москвичей, мне кажется, мало кого волнует. Днем нас почти не бывало дома, Нина работала, я учился и пропадал в театре сутками, приходили мы домой только ночевать.

Удивительная вещь! Судьба подарила мне такую большую, длинную жизнь, я столько видел и столько пережил: революция, нэп, коллективизация, все эти страшные политические процессы 30-х годов, война, вечные бытовые проблемы, постоянные лишения... Первые наручные часы у меня появились, когда мне уже исполнилось 30 лет. Много лет для особо «торжественных» случаев у меня имелся один-единственный костюм, и его покупка стала для нас с Ниной целым событием. Никакой «руки» в профессии у меня тоже не было. Я сам пробивал себе дорогу, минуя все соблазны богемы...

Коснулись нашей семьи и сталинские репрессии. Муж моей двоюродной сестры (какое-то время они тоже жили в Москве, на Рождественском бульваре, и жили прилично) был очень крупным инженером по водоканалам и шлюзам. Что-то изобрел в своей профессии, был даже награжден орденом Трудового Красного Знамени. А потом был арестован. И человека не стало...

Однако ж ничто из этих трагических событий нас человечески не озлобило, не ожесточило. Может быть, потому, что в детстве мы так напитались любовью? Или потому, что не испытали в юности соблазнов большого города и твердо знали, что можно в этой жизни, а чего нельзя?

Меня до сих пор удивляет, что сегодня, когда, казалось бы, у людей появилось столько возможностей и свобод, их отношение друг к другу так изменилось к худшему. Жестокость, цинизм, мошенничество стали теперь чуть ли не нормой жизни. Мы им даже не ужасаемся. Сейчас вас могут обмануть не только на рынке, но по самому высокому счету — даже в политике. Меня это так расстраивает,

ет, что я даже перестал читать газеты и телевизор стараюсь смотреть как можно меньше. Мне-то, как человеку верующему, всегда казалось, что жить честно легко. Легче, чем что бы то ни было другое. Потому что жить честно — это для человека естественно. Иногда мне кажется, что сегодняшние наши напасти посланы нам за наши прежние прегрешения. Может быть, мы несем наказание за семью последнего царя Николая? А может быть, за все то, что натворили потом и продолжаем творить? Хотя сегодня, похоже, не только мы, но и весь мир расплачивается за жестокость XX века. Посмотрите, сколько несчастий вокруг, взрывы, войны, пожары, землетрясения, ураганы, падающие самолеты, убитые дети... Когда человек, как говорят, «зарывается», не знает меры и удержу, честолюбие обращает в тщеславие, он начинает терять человеческий облик. Для меня, по крайней мере. Когда человека обуревает гордыня, один из самых страшных смертных грехов, или жадность, грех попроще, но тоже противный, ему не мешало бы вспомнить, какая маленькая у него жизнь, и всего-то одна. Уж поверьте мне, старику. Почти 90 лет я прожил на этой земле — почти что век! — а и он промчался, как миг.

Как поется в песне, которую я исполняю в концертах:

*Пролетают года, как минутные сны,  
Как ромашки на мягком лугу.  
Мы не можем забыть нашей первой весны.  
Ты не можешь, и я не могу.*

*Ничего не копили для черного дня,  
Не ловчили, не рвали из рук.  
И пред теми, кто знает тебя и меня,  
Наша совесть чиста, милый друг.*

Жизнь действительно пролетела мгновенно. Прошла, наверное, непросто, но была полна счастья, которое доставляла мне моя профессия, моя любовь к театру. И лучшее, что в этой жизни было, — это игра на сцене.

Но самое смешное, что театр вошел в мою жизнь случайно!